

**АВТОР В ЭПОХУ СМЕРТИ АВТОРА:
ЮЛИЯ КРИСТЕВА В ПОИСКАХ МИХАИЛА БАХТИНА¹***Наталья Михайловна Долгорукова*PhD, доцент департамента истории
и теории литературы факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ
E-mail: natalia.dolgoroukova@gmail.com**THE AUTHOR IN THE ERA OF THE DEATH OF THE AUTHOR:
JULIA KRISTEVA IN SEARCH OF MIKHAIL BAKHTIN***Natalia M. Dolgoroukova*PhD, Associate Professor, School of Literary History and Theory,
Faculty of Humanities,
National Research University Higher School of Economics
E-mail: natalia.dolgoroukova@gmail.com

Статья посвящена Юлии Кристевой (р. 1941), «открывшей» М. М. Бахтина (1895–1975) французской публике, и анализу ее прочтения работ русского мыслителя («Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman», 1967; «Une poétique ruinée», 1970). Предпринята попытка проанализировать историю рецепции наследия русского мыслителя и ученого Михаила Михайловича Бахтина во Франции в том социокультурном контексте 1960-х — первой половины 1980-х гг., в котором она началась и развивалась.

The article focuses on Julia Kristeva (1941), who «discovered» Mikhail Bakhtin (1895–1975) for the French public, and review her reading of Bakhtin's works («Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman», 1967; «Une poétique ruinée», 1970). It has attempted to review the history of Bakhtin's receiving in France according to the sociocultural context of 1960-s — 1980-s, in which it began and continued.

Ключевые слова: Юлия Кристева, М. М. Бахтин, «мышление 1968 года», история рецепции.

Keywords: Julia Kristeva, Mikhail Bakhtin, «1968's thinking», «receiving's history».

DOI 10.17323/2658-5413-2019-2-3-48-58

¹ Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2019 г.

Преобладающее умонастроение второй половины 1960–1980-х гг. в философии и научно-гуманитарном мышлении связано со структуралистской парадигмой (Р. Барт), получившей законченное оформление в регулярно выходивших номерах журнала «Tel Quel»¹ (ведущие авторы Р. Барт, Ю. Кристева и др.), и феноменом, вслед за Люком Ферри и Аленом Рено называемым «мышлением 1968 года»².

Анализ концепции Юлии Кристевой, «открывшей» Михаила Бахтина французской публике, и ее прочтения работ русского мыслителя («Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman»³, 1967; «Une poétique ruinée»⁴, 1970) составляет предмет статьи, написанной в рамках немецкого направления историко-литературных исследований Rezeptionsgeschichte (история рецепции), развитого в так называемой Констанцской школе немецкого филолога и эстетика Г. Р. Яусса.

Кристева была первой, кто открыл еще не переведенного и совсем не известного в Европе Михаила Михайловича Бахтина французскому читателю. Произошло это в 1967 г., когда вышла ее статья — переработанный доклад, с которым она выступила на семинаре Р. Барта в ЕРНЕ⁵, — «Бахтин, слово, диалог и роман». Через три года Кристева написала о русском мыслителе еще одну работу под заглавием «Разрушение поэтики», которая стала предисловием к французскому переводу книги М. М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского».

Как вспоминает сама Юлия Кристева в беседе с Самиром Эль-Муалля, приведенной в одном из номеров журнала «Диалог. Карнавал. Хронотоп»⁶, впервые тексты Бахтина она прочла в Болгарии в 1960-х гг., когда вышли две книги русского мыслителя — «Проблемы поэтики Достоевского» и «Творчество Франсуа Рабле». Кристева так говорит о «болгарском» открытии: «... Бахтин явился настоящей революцией как для приверженцев формализма, так и для тех, кто начинал интересоваться западным структурализмом. Я тогда была студенткой, и для меня это было откровение...» (Эль-Муалля С. А. 1995: 5–17). Обратим внимание на то, что Кристева, говоря о Бахтине, вольно или невольно ставит его работу в зависимость от формализма и структурализма — факт, к анализу которого мы скоро подойдем.

¹ О журнале «Tel Quel» см. две исчерпывающие монографии, вышедшие практически одновременно: *Forest Ph. Histoire de Tel Quel 1960-1982*. Paris, 1995; *French P. The Time of Theory: A History of Tel Quel (1960-1983)*. New York; Oxford, 1995.

² Как отмечает С. Одье, главным образом после выхода этой книги словосочетание «мышление 68» стало обозначать и майские события, и доктрины тогдашних властителей дум, таких как М. Фуко, Л. Альтюссер, Ж. Деррида, Ж. Лакан и др.

³ Русский перевод статьи выполнен Г. К. Косиковым в 1993 г.

⁴ Русский перевод статьи выполнен Г. К. Косиковым в 1994 г.

⁵ Практическая школа высших исследований, Париж.

⁶ Номер второй за 1995 г.

Итак, получив стипендию, Юлия Кристева приезжает во Францию в конце 1965 — начале 1966 гг. Она знакомится с парижскими интеллектуалами и писателями, в числе которых Филипп Соллерс, ставший впоследствии ее мужем, Жерар Женетт, Мишель Фуко, Жак Деррида и, конечно, Ролан Барт, чей ежегодный семинар в Практической школе высших исследований Кристева регулярно посещает. Именно Барт, в частной беседе узнав от Кристевой о ее увлечении Бахтиным, предлагает ей выступить с докладом о русском мыслителе на своем семинаре. Тогда Юлия Кристева пишет текст о Бахтине, выступает с ним у Барта, а затем публикует его в 1967 г. в авторитетном журнале «Critique» в виде статьи «Бахтин, слово, диалог и роман». Разговор с Бартом о Бахтине в кафе за бокалом перрье впоследствии будет выведен Кристевой в автобиографическом романе «Самураи» (Kristeva J. Les Samourais. P., 1990). Барт, в романе носящий имя Армана Бреалья, будет восхищен рассказом молодой болгарской студентки Юлии (в романе — Ольги) о неизвестном русском мыслителе, теоретике полифонического романа, карнавала, материально-телесного низа: «Именно так, тело и история, все это тоже тексты, — сказал он, глубоко вздохнув <...>. Не может быть и речи о том, чтобы все это оставалось на пороге грамматики, мы должны опрокинуть микроскоп, как это сделали вы с самим стилем <...> Да, роман происходит из карнавала, — и в этом, заметьте, мы не сомневались из-за Рабле, но то, что диалог — это ирония, признак невозможности понимания, разрушенной тотальности, — это очень сильно. Вы говорите, в общем, что ирония Платона имеет романский характер, и что роман — это ирония, неразрешимая. Вы угадали, мне это нравится» (Kristeva, 1990: 32–33). Этот романский диалог, как, собственно, и сам роман Кристевой, достоин того, чтобы стать предметом отдельного рассмотрения. Мы же вернемся к ее статье, значение которой для последующей рецепции Бахтина на Западе поистине сложно переоценить, ведь это была первая попытка знакомства французского и, шире, европейского читателя с русским мыслителем.

Сама Кристева ретроспективно, в позднем интервью, так формулировала свою задачу при создании первой статьи: «...одновременно и “представить” Бахтина, и “вписать” его в контекст своих собственных размышлений. Отсюда необходимость ввести несколько новых понятий вслед за “диалогом” и “диалогизмом”, например, понятия “интертекстуальности”, которое, как мне кажется, развивает некоторые идеи Бахтина; а также обозначить место и вид необходимой, по моему мнению, отсылки к психоанализу, которая позволяет углубить тему “другого”: не только как “другого”, задействованного в межличностной коммуникации, что, конечно, тоже важно, но прежде всего в смысле “другости” (altérité), внутренне присущей сознанию, которая открывает “другую сцену”, другой тип логики — бессознательное» (Эль-Муалля, 1995: 6). Посмотрим

теперь, как Кристева представила Бахтина французской публике и как теория русского мыслителя вписалась в контекст ее собственных рассуждений.

Довольно трудно согласиться с утверждением Клайва Томсона о том, что первая статья Кристевой о Бахтине «с достаточной ясностью представляет основные идеи бахтинских книг о Достоевском и Рабле» (Томсон, 2002: 385) и что «Кристева трактует идеологию этих книг как некое продолжение или вариант русской формалистической традиции» (Там же). Исследовательница действительно читала работы русских формалистов. Незадолго до приезда Кристевой в Париж в 1965 г. усилиями ее соотечественника Цветана Тодорова (1939–2017) был издан сборник переводов на французский язык основополагающих и программных текстов русских формалистов — «Теория литературы. Тексты русских формалистов, собранные, представленные и переведенные Цветаном Тодоровым». Сборник предваряло предисловие Романа Якобсона, в котором он, представляя труды Тынянова, Эйхенбаума, Шкловского, Томашевского и др., вскользь упоминал и Бахтина. Сама Кристева в позднем интервью признавалась, что уже к середине шестидесятых считала формализм «важным направлением, однако рассматривала его теперь как, в некотором смысле, пройденный этап» (Эль-Муалля, 1995: 6). Более того, в том же интервью Кристева отмечала следующее: «...во многом именно Бахтин позволил мне преодолеть то, что я обозначила бы как ограниченность формализма и структурализма. Прежде всего благодаря тому, что он стоит у истоков двух важных новых измерений в науке о литературе: во-первых, измерения “другого” как голоса, внутреннего по отношению к структуре, что делает последнюю двойственной, амбигуэнтной (с учетом диалогизма), и, во-вторых, измерения истории и эволюции жанров, которое позволяет мыслить, например, роман как явление, возникающее в точке пересечения карнавальской традиции со схоластической, с традицией трубадуров и т.д.» (Там же: 8). Однако обратимся непосредственно к тексту 1967 г. В статье прямо заявлено, что пришел конец формалистическим изысканиям и что недавно увидевшие свет работы Михаила Бахтина — «ярчайшее событие и одна из наиболее мощных попыток преодоления формализма» (Кристева, 2000: 427). Тем не менее Кристева акцентирует внимание французской публики на том факте, что уже русских формалистов занимала проблема языкового диалога, хотя, как подчеркивала исследовательница, для самого Бахтина граница между диалогом и монологом была более значимой, чем для формалистов. Что же касается структурализма, этого «нового формализма», по выражению Ж.-П. Сартра, то здесь выводы Кристевой не так последовательны, поскольку Бахтин, хотя и чужд технической строгости, не был чужд структурализму: наоборот, он ставил проблемы, по характеру коренные для современной структурной нарратологии, и оказался одним из первых, кто «взамен статистического членения

текстов предложил такую модель, в которой литературная структура не *наличествует*, но *вырабатывается* по отношению к другой структуре» (Там же: 430). Таким образом, «структура» является ключевым словом, с помощью которого Кристева характеризует подход Бахтина к языку и к культуре. При первом подходе она создает образ Бахтина-структуралиста, близкого к Соссюру, пытающегося преодолеть методологию формализма и разрабатывающего теорию романа, включающего карнавальную структуру, тем самым предлагая новую логику взамен аристотелевской — логику карнавала, речь о которой ниже. Сейчас же нам важно коснуться одного очень важного для Кристевой термина, создателем которого она и является. Речь идет об «интертекстуальности». Еще канадский исследователь Клайв Томсон отметил, что Кристева перевела понятие «диалогизм» как «интертекстуальность» (Томсон, 2002: 385). Однако такое замечание нуждается в уточнениях. Кристева не просто переводит бахтинский термин своим собственным. Претензия исследовательницы шире: она пытается прояснить один термин через другой. Кристева пишет, что бахтинский «диалогизм» выявляет в письме не только субъективное начало, но и коммуникативное, точнее — *интертекстовое*; в свете этого диалогизма такое понятие, как «лицо-субъект письма» начинает тускнеть, чтобы уступить место другому явлению — *амбивалентности письма*» (Кристева, 2000: 432). Но что понимается под «амбивалентностью»? Кристева выделяет в «текстовом пространстве» две оси: горизонтальная (субъект-получатель) и вертикальная (текст-контекст). Тут же исследовательница отмечает, что у Бахтина недостаточно четко проведено различие между обоими явлениями, которые он сам называет *диалогом* и *амбивалентностью* (Там же: 429). Но недостаток четкости, по мысли Кристевой, является скорее открытием, впервые сделанным Бахтиным в области теории литературы: «любой текст строится как мозаика цитаций, любой текст — это впитывание и трансформация какого-нибудь другого текста. Тем самым на место понятия *интерсубъективности* встает понятие *интертекстуальности*, и оказывается, что поэтический язык поддается как минимум *двойному* прочтению» (Там же). Кристева еще не говорит о смерти субъекта (автора), но ее мысль, идущая, на наш взгляд, именно в этом направлении, будет через год подхвачена и развита Роланом Бартом, на семинаре которого, не будем забывать, Кристева и сделала первый доклад о Бахтине. Именно в 1968 г. Барт напишет знаменитую статью «Смерть автора», ставшую кредо французского пост-структурализма.

Итак, Юлия Кристева в анализируемой нами статье приходит к выводу, что для описания функционирования поэтического языка, языка карнавала, лежащего, по мысли Бахтина, в основе романа-мениппеи, требуется особая, другая логика, отличная от логики науки. Она считает, что современная ло-

гика, даже в тех ее направлениях, которые способны адекватно формализовать функционирование языка, неприменима к области языка поэтического, «где 1 не является пределом» (Там же: 434). С точки зрения Кристевой, для анализа поэтического языка требуется принципиально иная логика: «литературную семиотику следует строить исходя из поэтической логики, в которой интервал от 0 до 2 охватывается понятием мощность континуума — континуума, где 0 выполняет функцию денотации, а 1 в неявной форме преодолевается» (Там же). Как отмечают А. Сокал и Ж. Брикмон, здесь Кристева совершает целый ряд существенных ошибок: нельзя сказать, во-первых, что логика Буля, к которой она апеллирует, базируется на теории множеств, возникшей существенно позже Булевой алгебры, во-вторых, что логика Буля служит лучшим средством формализации, чем подходы Фреге и других перечисленных Кристевой авторов, в-третьих, что современная логика работает в «интервале 0–1». Указанные логические теории используют два логических значения: «истина» и «ложь» или «1» и «0», но эти значения интервала не образуют. Но и в случае «поэтической логики» в подходе Кристевой есть ряд существенных неточностей: и интервал 0–1, и интервал 0–2 являются равномогущими, совпадающими с мощностью континуума; в таком случае остается непроясненным, в чем именно состоит отличительная особенность поэтической логики и того «континуума», в котором она должна работать. Еще более удивительным кажется факт, что попытки описания некой поэтической логики «в интервале 0–2» Кристева связывает с идеями М. М. Бахтина, считая, что «карнавальный дискурс» — единственный, в котором воплощена логика в указанном ею интервале: «переняв логику сновидения, он нарушает не только правила языкового кода, но и нормы общественной морали» (Там же: 434–435). Кристева отмечает, что термин «диалогизм» в французском применении включает в себя такие понятия, как «двоица», «язык» и «другая логика» (Там же: 436), и приходит к выводу, что возможно выстроить следующую парадигму:

«Практика	Бог
“Дискурс”	История
Диалогизм	Монологизм
Логика взаимоотноительности	Аристотелевская логика
Синтагма	Система
Карнавал	Повествование

Амбивалентность

Мениппея

Полифонический роман» (Там же: 432, 452).

Итак, бахтинская концепция карнавала у Кристевой напрямую связывается с гипотетической поэтической логикой; более того, по мнению исследовательницы, карнавал отвергает законы языка, ограниченного интервалом 0–1, а значит, Бога, авторитет и социальный закон (Там же: 443). О том, что карнавал Бахтина (да и он сам) «отвергает Бога», будут писать и у нас: так, например, А. Я. Гуревич замечал: «Судя по похоронам, Бахтин был христианином. А в его книге в 600 страниц слова “Бог” нет. Книга о средневековой культуре без упоминания о Боге — это же надо так изощриться!» (Гуревич, 1995: 209). И дело здесь не в том, что Кристева, а вслед за ней и Гуревич, допускают фактическую ошибку и не замечают, например, такие слова из книги о Франсуа Рабле: «Бог не нуждается в нашем лицемерии» (Бахтин, 1990: 88). Дело в том, что Кристева и Гуревич как будто забывают, в каком «мире жизни» создавалась и публиковалась книга о Рабле, также вне их горизонта оказался весь ранний Бахтин, с его мыслями о христианской нравственности, с его философией поступка, со всем тем, без чего понять Бахтина зрелого и Бахтина позднего не представляется возможным. Однако «хронотоп», «полифония», «диалогизм» и «мениппея», по-видимому, казались более понятными, легкими и продуктивными, а бахтинский «карнавал», по совершенно непонятной логике, оказался сборищем атеистов, богохульников и донжуанов.

Подобного рода эклектичность и, не побоимся уместного в данном случае слова, псевдонаучность характерна для стиля философствования, присущего Ю. Кристевой в целом. Не случайно в книге Сокала и Брикмона «Интеллектуальные уловки. Критика философии постмодерна» ей посвящена отдельная глава, в которой авторы выносят безжалостный приговор методу французской исследовательницы: «В целом она обладает по меньшей мере смутным представлением о математике, на которую она ссылается, даже если она не всегда явно не понимает смысл употребляемых ею терминов» (Брикмон, Сокал, 2002: 50). Критики философии французского постмодерна отмечают, что Кристева никак не объясняет цель употребления математических понятий в областях, которые исследует — лингвистике, литературной критике, политической философии, психоанализе. Причина, по их мнению, проста: никакой причины применять их не существует, а эрудиция исследовательницы поверхностна.

Пройдет три года, и в 1970 г. в Париже будет подготовлено французское издание «Проблем поэтики Достоевского» — «La poétique de Dostoïevski», переведенное Изабеллой Колитчев. Юлия Кристева принимала участие в этом издании, просматривала перевод, в некоторых местах редактируя его, написала довольно обширное предисловие к французскому переводу Бах-

тина, получившее название «Поэтика в руинах» — «Une poétique ruinée» (Kristeva J, 1970).

Характерно уже само название статьи — «Поэтика в руинах», другой возможный перевод — «Разрушение поэтики». Мысль Кристевой заключается в следующем: Бахтин поступил «хорошо» и «правильно», разрушив «старую», классическую поэтику в своей книге о Достоевском. Кристева не хочет видеть в монографии Бахтина новую поэтику в продолжение старой, она делает акцент на **разрушении** старой поэтики, отвечая, таким образом, духу времени (не будем забывать, что работа происходила около 1968 г.).

В тексте Михаила Бахтина, по мнению Кристевой, присутствуют «теоретические границы» — исторические, социологические, культурные. Каков их смысл? Исследовательница выдвигает четыре основные претензии к труду русского мыслителя: психологизм, отсутствие теории субъекта, зачаточный уровень лингвистического анализа и, наконец, неосознанное вторжение христианской лексики («душа», «сознание») в язык гуманитарной науки (Там же: 15). Несмотря на это, Кристева считает, что книга Бахтина о Достоевском представляет интерес и для современного читателя, ведь, в сущности, он читает написанное прежде, чтобы извлечь из «обветшавшей идеологической скорлупы» смысловое ядро, отвечающее современным, передовым исследовательским запросам. И тогда, по мнению Кристевой, правомерно даже вмешательство позднейшего исследователя в «субъективную объективность текста (“что на самом деле хотел сказать автор”))» с целью выявить его значимость для новейших исследований (Там же). Статью Кристевой отличает снисходительный тон, заданный с самого начала. Исследовательница одновременно и журит, и оправдывает Бахтина и его труд о Достоевском, называя его приблизительными и неточными разработками, во многом, правда, интуитивно *предвосхищавшими* Фрейда, отводившего столь значительное место желанию, направленному на другого (Кристева, 2002: 14). Только в этой роли — предвосхитителя Фрейда — и можно, с ее точки зрения, и нужно читать Бахтина и его книгу о поэтике Достоевского. Удивительно, что Кристева не сильна не только в логике, но и в хронологии: Зигмунд Фрейд сформулировал основные положения своей теории в конце XIX — начале XX вв. Итак, во второй статье Кристевой Бахтин становится только предлогом для разговора о действительно актуальных научных направлениях и предстает лишь прозорливым предтечей (sic!) Фрейда и структурной лингвистики. Сами же его труды практически не представляют интереса для современной науки, поскольку в работе о Достоевском-психологе Бахтин ни разу не сослался ни на психоанализ, ни на Фрейда. Из этого исследовательница делает вывод, что Бахтин Фрейда просто не знал (Kristeva J., 1998: 14). Однако Кристева

не учла, что философ, *не знающий Фрейда*, в 1927 г. успел написать и даже опубликовать в Ленинграде, под фамилией¹ В. Н. Волошинова, целую книгу о Фрейде и фрейдизме — «Фрейдизм. Критический очерк» (Л.: ГИЗ, 1927). Тем не менее одним достоинством, с точки зрения Кристевой, труды Бахтина обладали: оно заключалось в преобразовании формалистической проблематики и преодолении формалистической методологии.

Главной ценностью научного анализа, осуществляемого Бахтиным, Кристева, как видно, считает доведение до уровня «специфической сложности», чего русские формалисты не смогли добиться (Кристева, 2002: 11). Достижение Бахтина заключалось в том, что перед формалистической поэтикой им были поставлены проблемы двух типов. Во-первых, представление о литературной науке больше не могло быть узко-формалистическим, но должно было вписать литературоведение в целое семейство «наук об идеологиях». Во-вторых, должно было быть пересмотрено формалистическое представление о языке как о системе знаков. Как напишет Кристева, «неустранимое различие между бахтинским подходом и подходом формалистов обнаруживается в их представлении о языке» (Там же: 19). Речь идет о том, что «слово» у Бахтина всегда — полифоническое, оно многоголосо и в нем слышатся другие слова и слова других.

Таким образом, по мнению Кристевой, опыт формалистов был важен и не прошел для Бахтина даром: «уже после того, как формалисты проделали свою работу, Бахтин, усвоив из их опыта, что значение следует изучать в его словесной материальности, восстанавливает контакт с *исторической поэтикой*» (Там же: 17).

Статья Кристевой возвращает нас и к проблеме «диалогизма», который теперь понимается исследовательницей как «двойственная принадлежность дискурса (его принадлежность определенному “я” и в то же время “другому”), тот *spatting* субъекта, на который с научной осторожностью укажет психоанализ, а также топология субъекта по отношению к внеположенной ему “сокровищнице означающих” (Лакан)» (Там же: 19) и к проблеме карнавала, который становится «символом современного мира» (Там же: 30).

Как замечает К. Томсон, такое предисловие Кристевой имело для западной рецепции Бахтина по меньшей мере двойной эффект: «уничжительный выпад <...> мог вообще отбить у некоторых читателей желанием заниматься дальнейшим исследованием Бахтина, а <...> синкретичное (чтобы не сказать малопонятное) привязывание Бахтина к психоанализу, структура-

¹ Вопрос о степени участия Бахтина в работах, опубликованных под именем Волошинова, в современной науке дискусионен. На сегодняшний день не представляется возможным утверждать, что фамилия Волошинова являлась для Бахтина псевдонимом. *Прим. ред.*

лизму и семиотике в контексте ее [Кристевой] теории интертекстуальности хотя и вдохновило некоторых ученых на дальнейшее исследование в этом направлении (например, Оте-Ревю), могло в то же время подействовать и обескураживающим образом из-за большой абстрактности и из-за того, что уже в начале 70-х годов во французских академических кругах структуралистский литературоведческий подход подвергся критике» (Томсон, 2002: 386–387)¹.

Итак, Бахтин Юлии Кристевой, открывшей русского мыслителя и задавшей направление прочтения его работ на Западе, оказался предтечей Фрейда, Лакана, структурализма и вдохновителем ее собственной теории интертекстуальности.

Литература

- Бахтин М. М. (1990). Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература. С. 88.
- Брикмон Ж., Сокал А. (2002). Интеллектуальные уловки. Критика философии постмодерна. М.: Дом интеллектуальной книги.
- Гуревич А. Я. (1995). «Гуманитарное знание... не должно бояться неясностей и парадоксов» // *Arbor mundi*. Мировое древо. Международный журнал по теории и истории мировой культуры. Беседа с Юлией Кристевой // Диалог. Карнавал. Хронотоп. Журнал научных разысканий о биографии, теоретическом наследии и эпохе М. М. Бахтина. № 2. Выпуск 11. С. 209.
- Косиков Г. К. (1993). Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман / Пер. Г. К. Косикова // Диалог. Карнавал. Хронотоп. № 4.
- Косиков Г. К. (1994). Кристева Ю. Разрушение поэтики / Пер. Г. К. Косикова // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. № 5. С. 44–62.
- Кристева Ю. (2000). Бахтин, слово, диалог и роман // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму / Пер. с франц., сост., вступ. ст. Г.К. Косикова. М.: ИГ Прогресс. С. 427.
- Кристева Ю. (2002). Разрушение поэтики. / Пер. Г. К. Косикова // Михаил Бахтин: Pro et Contra. СПб. Т. II. С. 7–32.
- Томсон К. (2002). Бахтин во Франции и в Квебеке / Пер. П. Ольхова и А. Ривлиной // Михаил Бахтин: Pro et Contra, СПб. Т. II. С. 385.
- Эль-Муалля С. А. (1995). Беседа с Юлией Кристевой // Диалог. Карнавал. Хронотоп. Журнал научных разысканий о биографии, теоретическом наследии и эпохе М. М. Бахтина. № 2. С. 5–17.
- Audier S. (2008). *La pensée anti-68*. P. P. 15.
- Ferry L., Renaut A. (1988). *La pensée 68*. P.

¹ О дальнейшем изучении М. М. Бахтина во Франции см. нашу статью: Бахтин во Франции (на материале первых французских рецензий 1970-х гг.) // Новое литературное обозрение. 2018. № 150. С. 100–107.

Kristeva J. (1967). Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman // Critique. April. P. 438–465.

Kristeva J. (1990). Les Samourais. P.

Kristeva J. (1998). Une poétique ruinée // Bakhtine M. La Poétique de Dostoïevsky. P.

Todorov Tz. (1965). Théorie de la littérature. Textes des Formalistes russes réunis, présentés et traduits par Tzvetan Todorov. Préface de Roman Jakobson. Collection «Tel Quel» aux éditions du Seuil. P.

References

Bahtin M. M. (1990). Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kul'tura srednevekov'ya i Rennansa. M.: Hudozhestvennaya literatura. S. 88.

Brikmon Zh., Sokal A. (2002). Intellektual'nye ulovki. Kritika filosofii postmoderna. M.: Dom intellektual'noj knigi.

Gurevich A. Ya. (1995). «Gumanitarnoe znanie... ne dolzhno boyat'sya neyasnostej i paradoksov» // Arbor mundi. Mirovoe drevo. Mezhdunarodnyj zhurnal po teorii i istorii mirovoj kul'tury. Beseda s Yuliej Kristevoj // Dialog. Karnaval. Hronotop. Zhurnal nauchnyh razyskanij o biografii, teoreticheskom nasledii i epohe M. M. Bahtina. № 2. Vypusk 11. S. 209.

Kosikov G. K. (1993). Kristeva Yu. Bahtin, slovo, dialog i roman / Per. G. K. Kosikova // Dialog. Karnaval. Hronotop. № 4.

Kosikov G. K. (1994). Kristeva Yu. Razrushenie poetiki / Per. G. K. Kosikova // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9. Filologiya. № 5. S. 44–62.

Kristeva Yu. (2000). Bahtin, slovo, dialog i roman // Francuzskaya semiotika: Ot strukturalizma k poststrukturalizmu / Per. s franc., sost., vstup. st. G. K. Kosikova. M.: IG Progress. S. 427.

Kristeva Yu. (2002). Razrushenie poetiki / Per. G. K. Kosikova // Mihail Bahtin: Pro et Contra. SPb. T. II. S. 7–32.

Tomson K. (2002). Bahtin vo Francii i v Kvebeke / Per. P. Ol'hova i A. Rivlinoj // Mihail Bahtin: Pro et Contra, SPb. T. II. S. 385.

El'-Muallya S. A. (1995). Beseda s Yuliej Kristevoj // Dialog. Karnaval. Hronotop. Zhurnal nauchnyh razyskanij o biografii, teoreticheskom nasledii i epohe M. M. Bahtina. № 2. S. 5–17.